Поэт и мир (Нобелевская лекция)

Вислава Шимборская

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Нобелевская лекция лауреата 1996 года, польской поэтессы Вислявы Шимборской.

- Поэт и мир
- От переводчика

Поэт и мир

Нобелевская лекция 1996 года

Самой трудной, когда произносишь речь, считается первая фраза. У меня это, стало быть, уже позади… Но я чувствую, что и последующие фразы будут непростыми — третья, шестая, десятая, вплоть до последней, ведь я собираюсь говорить о поэзии. На эту тему я высказываюсь редко, крайне редко. И всегда мне сопутствует ощущение, что делаю я это не наилучшим образом. Потому моя речь не будет чересчур длинной. Всякое несовершенство легче стерпеть, если оно преподносится в небольших дозах.

Сегодняшний поэт скептичен и подозрителен даже — а возможно, прежде всего — по отношению к самому себе. Он неохотно вслух называет себя поэтом — словно бы немножечко этого стыдится. В нашу крикливую эпоху куда легче признать собственные недостатки — конечно, если они эффектно выглядят, — чем достоинства, которые глубже спрятаны и в которых мы сами не до конца уверены… В различных анкетах или в беседах со случайными попутчиками, когда поэт вынужден обозначить род своих занятий, он обходится неопределенным "литератор" — или называет свою дополнительную специальность. Сообщение о том, что перед ними поэт, чиновники или пассажиры автобуса принимают с легким недоверием и опаской. Думаю, с подобной реакцией сталкивается и философ. Однако философ все-таки в лучшем положении: он сплошь и рядом имеет возможность украсить свою профессию каким-нибудь ученым званием. Доктор философии — это звучит уже гораздо солидней.

А вот докторов поэзии нет. Будь оно так, профессия "поэт" требовала бы специального образования, регулярной сдачи экзаменов, наличия теоретических трудов, подкрепленных библиографией и сносками, наконец, торжественно вручаемых дипломов. А это, в свою очередь, означало бы, что недостаточно исписанного — пускай прекраснейшими стихами — листка бумаги: чтобы считаться поэтом, нужна — и это необходимое условие — некая бумажка с печатью. Вспомним, что именно из-за отсутствия таковой был отправлен в ссылку будущий лауреат Нобелевской премии, гордость российской поэзии Иосиф Бродский. Его сочли "тунеядцем", поскольку он не имел официального документа, дозволяющего ему быть поэтом…

Несколько лет назад я имела честь и удовольствие познакомиться с Ним лично. Я заметила, что изо всех известных мне стихотворцев он один любил говорить о себе "поэт", произнося это слово без внутреннего сопротивления, даже с какой-то вызывающей свободой. Думаю, потому, что не забыл жестокие унижения, которые претерпел в молодости.

В более счастливых странах, где не так легко попирается человеческое достоинство, поэты, разумеется, мечтают, чтобы их печатали, читали, понимали, но уже не делают ничего — или почти ничего — для того, чтобы в повседневной жизни выделяться среди своего окружения. А ведь еще так недавно, в первые десятилетия нашего века, поэты любили шокировать публику затейливыми нарядами, эксцентрическим поведением.

Однако это всегда было зрелищем на потребу общественного мнения.

Рано или поздно наступал момент, когда поэт закрывал за собой дверь, сбрасывал все эти пелерины, блестящие украшения и прочие поэтические аксессуары и оказывался в тишине, в ожидании самого себя, наедине с еще пустым листом бумаги. Потому что, по сути дела, это — главное.

Характерное явление. Снимается много биографических фильмов о великих ученых и великих художниках. Честолюбивые режиссеры ставят перед собой задачу достоверно изобразить творческий процесс, в результате которого были сделаны важные научные открытия или созданы знаменитые произведения искусства. Можно весьма успешно показать работу ученого: лаборатория, разнообразные приборы, действующие механизмы способны на некоторое время приковать внимание зрителей. Кроме того, на экране удается очень драматично представить минуты неуверенности, напряженного ожидания: получится ли повторяемый уже в тысячный раз, только с мелкими изменениями, эксперимент?

Зрелищными могут быть и фильмы о художниках — нетрудно воспроизвести все стадии создания картины, от первого штриха до последнего прикосновения кисти к холсту. Фильмы о композиторах наполнены музыкой — с первых тактов, которые творец слышит в себе, до окончательно созревшего, инструментованного произведения. Все это не более чем наивно и ничего не говорит о том странном состоянии духа, которое принято называть вдохновением, однако зрителю хотя бы есть на что посмотреть и что послушать.

Гораздо хуже обстоит дело с поэтами. Их работа безнадежно нефотогенична. Человек сидит за столом или лежит на диване, уперев неподвижный взгляд в стену или в потолок, время от

времени напишет семь строк, одну из которых через четверть часа зачеркнет, и потом еще целый час ничего не происходит… Какой зритель выдержит подобное?

Я упомянула о вдохновении. На вопрос “что это?” — если это существует, — современные поэты дают уклончивые ответы. Не потому, что никогда не ощутили благодати этого внутреннего импульса.

Причина иная. Нелегко объяснить кому-либо нечто, непонятное самому.

И я, когда меня иногда об этом спрашивают, далеко обхожу суть дела. Я отвечаю так: вдохновение вовсе не исключительная привилегия поэтов или вообще художников. Есть, была и всегда будет определенная категория людей, которых посещает вдохновение. Это все те, кто сознательно выбирает себе занятие и трудится с любовью и с фантазией. Бывают такие врачи, бывают такие учителя, бывают такие садовники; можно перечислить еще сотню других профессий. Для этих людей работа может стать неизменно увлекательным приключением — если только они не оставят без внимания ни один брошенный ею вызов. Несмотря на трудности, на поражения, их любопытство не иссякает. Каждая решенная проблема влечет за собой целый рой новых вопросов. Вдохновение, чем бы оно ни было, рождается из постоянного "не знаю".

Таких людей не слишком много. Большинство обитателей этой земли работают, чтобы обеспечить себе средства к существованию, работают, потому что должны работать. Не они по велению сердца выбирают работу, за них делают выбор жизненные обстоятельства. Работа нелюбимая, работа скучная, работа, которую ценишь только потому, что даже в такой форме она не всем доступна, — горькая недоля, одна из самых тяжких, какие выпадают человеку. И не похоже, чтобы в ближайшие столетия произошла какая-нибудь счастливая перемена.

Тем не менее прошу обратить внимание, что я, хотя и отнимаю у поэтов монополию на вдохновение, все же помещаю их в немногочисленную группу баловней судьбы.

Но тут у слушателей могут возникнуть сомнения.

Всевозможные палачи, диктаторы, фанатики, демагоги, борющиеся за власть с помощью нескольких — главное, чтобы погромче! — лозунгов, тоже любят свою работу и тоже выполняют ее рьяно и изобретательно. Да, но они "знают". Они знают, и того, что знают, им абсолютно достаточно. Ничто сверх уже известного их не интересует, ибо может поколебать их убежденность в собственной правоте. А всякое знание, которое не порождает очередных вопросов, очень быстро умирает, утрачивает

необходимый для жизни накал. В самых крайних случаях — чему есть примеры и в древней, и в новейшей истории — оно даже может стать смертельно опасным для общества.

Поэтому я так высоко ценю два коротких слова: "не знаю". Маленьких, но всемогущих. Открывающих для нас пространства, которые спрятаны в нас самих, и пространства, в которых затеряна наша крошечная Земля. Если бы Исаак Ньютон не сказал себе "не знаю", яблоки в его саду могли бы сыпаться градом у него на глазах, а он бы в лучшем случае подбирал их и с аппетитом съедал. Если бы моя соотечественница Мария Склодовская-Кюри не сказала себе "не знаю", она бы, вероятно, преподавала химию в пансионе для благородных девиц, и в этой — вполне достойной — работе прошла бы вся ее жизнь. Но она сказала "не знаю", и именно эти слова привели ее, притом дважды, в Стокгольм, где людям с неспокойной и вечно ищущей душой вручают Нобелевскую премию.

И поэт, если он настоящий поэт, должен неустанно повторять про себя: "не знаю". Каждым своим стихотворением он пытается что-то объяснить, но едва ставит точку, как его начинают одолевать сомнения, он начинает понимать, что объяснение это недолговечное и неисчерпывающее. И тогда он делает еще одну попытку и еще одну, а потом все эти доказательства его недовольства собой историки литературы скрепят огромной скрепкой и назовут "творческим багажом".

Иногда мне представляются совершенно нереальные ситуации. Например, я имею дерзость вообразить, будто у меня появилась возможность побеседовать с Екклесиастом, автором необычайно волнующего плача о тщете любых человеческих начинаний. Я бы низко ему поклонилась, ведь он один из самых важных — по крайней мере, для меня — поэтов. Но потом схватила бы его за руку. "Нет ничего нового под солнцем", — сказано Тобою, Екклесиаст. Но Ты же сам родился новым под солнцем. А поэма, которая сочинена Тобой, тоже новая под солнцем, потому что до Тебя ее никто не написал. И новые под солнцем все Твои читатели, ибо до Тебя они не могли ее прочесть. И кипарис, в тени которого Ты присел, не растет здесь от сотворения мира. Ему дал начало какой-то другой кипарис, подобный Твоему, но не в точности такой же. А кроме того, позволь спросить у Тебя, Екклесиаст, что нового под солнцем Тебе хочется еще написать. Нечто такое, что дополнило бы Твои рассуждения, или же Тебя искушает желание кое-какие из них опровергнуть? В уже написанной поэме Ты в числе прочего заметил и радость — пусть преходящую, ну и что с того? Так, может быть, о ней будет Твоя новая под солнцем поэма? Есть уже

у Тебя какие-нибудь заметки, предварительные наброски? Не скажешь же Ты, надеюсь: "Я все написал, мне нечего больше добавить". Такого не может сказать ни один поэт на свете, а уж тем паче такой великий, как Ты.

Мир, что бы мы о нем ни подумали, напуганные его необъятностью и собственным перед ним бессилием, обиженные его равнодушием к страданиям отдельных существ — людей, зверей, а может быть, и растений, ибо откуда эта уверенность, что растения избавлены от страданий; что бы мы ни подумали о его пространствах, пронизанных излучением звезд, звезд, вокруг которых мало-помалу открывают какие-то планеты — уже мертвые? еще мертвые? — неизвестно; что бы мы ни сказали о том вселенском театре, куда у нас, правда, есть билет, но действителен он до смешного короткое время, ограниченное двумя заданными датами; что бы мы ни подумали об этом мире — он удивителен.

Но в определении "удивительный" скрывается некая логическая ловушка. Ведь обычно нас удивляет то, что отступает от известной и общепризнанной нормы, не укладывается в некую очевидность, к которой мы привыкли. Так вот, такого очевидного мира просто нет. Наше удивление возникает самопроизвольно и не вытекает из сравнений с чем бы то ни было.

Согласна, в бытовой речи, не заставляющей нас задумываться над каждым словом, мы широко пользуемся определениями "обычная жизнь", "обычный мир", "обычный порядок вещей"… Однако в поэзии, где взвешивается каждое слово, ничто не является обычным и нормальным. Ни один холм и ни одно облако над ним. Ни один день и ни одна наступающая за ним ночь. И главное — ничье существование на этом свете.

Похоже, что у поэтов всегда будет много работы.

От переводчика

Вислaву Шимборскую не нужно представлять постоянному — особенно давнишнему — читателю нашего журнала: он знаком с ней ровно тридцать лет. Впервые ее стихи появились в "Иностранной литературе" в 1967 году — перевел их Асар Эппель. А в 1973-м она вместе со своим, ныне покойным, мужем, прекрасным прозаиком Корнелем Филиповичем, была гостем редакции, после чего журнал опубликовал запись беседы с польскими писателями. Во время этой встречи и была сделана фотография, которая сейчас перед вами. Впоследствии стихи Шимборской печатались в "ИЛ" в 1974, 1978 (также в переводах А.Эппеля) и в 1994 годах (в переводах Натальи Астафьевой). Надо сказать, что опубликовать Шимборскую в 70-х годах было далеко не просто: ее фамилия числилась в "черных" списках, которыми услужливые "польские друзья" снабжали посольство СССР и которые затем попадали к "кураторам" культуры. Переводчику и редакторам журнала приходилось проявлять большую настойчивость и отвагу, а то и хитрить, чтобы "протащить" в номер стихи неблагонадежного автора.

И сейчас редакция с удовольствием присоединяет свой голос к хору поздравивших новую Нобелевскую лауреатку почитателей ее таланта. Мы вспоминаем, какую высокую оценку дала Шимборской переводившая ее Анна Ахматова, отмечавшая зрелость мысли и отточенность стиля поэтессы; нам хочется процитировать прошлогоднего лауреата Нобелевской премии ирландца Шеймаса Хини, который в ответ на вопрос, знает ли он, кто получил эту премию в 1996 году, воскликнул: "Вислава, это прекрасно! Потрясающе, что "Нобеля" получила поэтесса, которую я так высоко ценю. /…/ Шимборская — как Беккет — останется свободной. Как и он, она будет по-прежнему следовать за той тоненькой стрелкой компаса, которая у нее в голове, и, полагаю, ничто не собьет ее с этого пути"; мы согласны с Чеславом Милошем, еще одним польским лауреатом Нобелевской премии, который сказал, что присужденная Шимборской награда — подтверждение высокой позиции польской поэзии в мире; и с Иосифом Бродским, который включил бы "Конец и начало" Шимборской в антологию ста лучших стихотворений XX века.

Мы надеемся, что впредь еще не раз предоставим читателю возможность познакомиться с новыми стихами и эссе замечательной поэтессы, умнейшего, тонкого и обаятельного человека.